

К. Чуковский

Леонид Андреев

I

Он любил огромное.

В огромном кабинете, на огромном письменном столе стояла у него огромная чернильница. Но в чернильнице не было чернил. Напрасно вы совали туда огромное перо. Чернила высохли.

— Уже три месяца ничего не пишу, — говорит Леонид Андреев — Кроме «Рулевого», ничего не читаю...

«Рулевой» — журнал для моряков. Вон на конце стола последний номер этого журнала; на обложке нарисована яхта.

Андреев ходит по огромному своему кабинету и говорит о морском — о брамселях, якорях, парусах. Сегодня он моряк, морской волк. Даже походка стала у него морская. Он курит не папиросу, а трубку. Усы сбрил, шея открыта по-матросски. Лицо загорелое. На гвозде висит морской бинокль.

Вы пробуете заговорить о другом. Он слушает только из вежливости.

— Завтра утром идем на «Савве», а покуда...

«Савва» — его моторная яхта. Он говорит об авариях, подводных камнях и мелях. Ночь. Четыре часа. Вы сидите на диване и слушаете, а он ходит и говорит монологи.

Он всегда говорит монологи. Речь его ритмична и текуча.

Иногда он останавливается, наливает себе стакан крепчайшего, черного, холодного чая, выпивает его залпом, как рюмку водки, лихорадочно глотает карамельку и снова говорит, говорит... Говорит о боге, о смерти, о том, что все моряки верят в бога, что, окруженные безднами, всю жизнь ощущают близость смерти; еженощно созерцая звезды, они становятся поэтами и мудрецами. Если б они могли выразить то, что они ощущают, когда где-нибудь в Индийском океане стоят на вахте под огромными звездами, они затмили бы Шекспира и Канта...

Но вот наконец он устал. Монолог прерывается длинными паузами. Походка становится вялой. Половина шестого. Он выпивает еще два стакана, берет свечку и уходит к себе:

— Завтра утром идем на «Савве».

Вам постлано рядом, в башне. Вы ложитесь, но не можете заснуть. Вы думаете: как он устал! Ведь в эту ночь он прошел по своему кабинету не меньше восемнадцати верст, и если бы записать, что он говорил в эту ночь, вышла бы не маленькая книга. Какая безумная трата сил!

Утром на баркасе «Хамойдол» мы отправляемся в море. И откуда Андреев достал эту кожаную рыбачью норвежскую шапку? Такие шапки я видал лишь на картинках в журнале «Вокруг света». И высокие непромокаемые сапоги, совсем как у кинематографических пиратов. Дайте ему в руки гарпун — великолепный китобой из Джека Лондона.

Вот и яхта. Вот и садовник Степаныч, загримированный боцманом. До позднего вечера мы носимся по Финскому заливу, и я не перестаю восхищаться гениальным актером, который уже двадцать четыре часа играет — без публики, для самого себя — столь новую и трудную роль. Как он набивает трубку, как он сплевывает, как он взглядывает на игрушечный компас! Он чувствует себя капитаном какого-то океанского судна. Широко расставив могучие ноги, он сосредоточенно и молчаливо смотрит вдаль; отрывисто звучит его команда... На пассажиров — никакого внимания: какой же капитан океанского судна разговаривает со своими пассажирами!..

Когда через несколько месяцев вы снова приезжали к нему, оказывалось, что он живописец.

У него длинные волнистые волосы, небольшая бородка эстета. На нем бархатная черная куртка. Его кабинет преобразен в мастерскую. Он плодовит, как Рубенс: не расстается с кистями весь день. Вы ходите из комнаты в комнату, он показывает вам свои золотистые, зеленовато-желтые картины. Вот сцена из «Жизни Человека». Вот портрет Ивана Белоусова. Вот большая византийская икона, изображающая с наивным кощунством Иуду Искаротского и Христа. Оба похожи как близнецы, у обоих над глазами общий венчик.

Всю ночь он ходит по огромному своему кабинету и говорит о Веласкесе, Дюрере, Врубеле. Вы сидите на диване и слушаете. Внезапно он прищуривается, отступает назад, окидывает вас взором живописца, потом зовет жену и говорит:

— Аня, посмотри, какая светотень!

Вы пробуете заговорить о другом, но он слушает только из вежливости. Завтра вернисаж в Академии художеств, вчера приезжал к нему Репин, послезавтра он едет к Галлену... Вы хотите спросить: «А что же яхта?» — но домашние делают вам знаки: не спрашивайте. Увлечшись какой-нибудь вещью, Андреев может говорить лишь о ней, все прежние его увлечения становятся ему ненавистны... Он не любит, если ему напоминают о них.

Когда он играет художника, он забывает свою прежнюю роль моряка; вообще он никогда не возвращается к своим прежним ролям, как бы блистательно они ни были сыграны...

А потом цветная фотография.

Казалось, что не один человек, а какая-то фабрика, работающая безостановочно, в несколько смен, изготовила все эти неисчислимые груды больших и маленьких фотографических снимков, которые были свалены у него в кабинете, хранились в особых ларях и коробках, висели на окнах, загромождали столы. Не было такого угла в его даче, который он не снял бы по нескольку раз. Иные снимки удавались ему превосходно — например, весенние пейзажи. Не верилось, что эта фотография, — столько в них было левитановской элегической музыки.

В течение месяца он сделал тысячи снимков, словно выполняя какой-то колоссальный заказ, и когда вы приходили к нему, он заставлял вас рассматривать все эти тысячи, простодушно уверенный, что и для вас они источник блаженства. Он не мог вообразить, что есть люди, для которых эти стеклышки неинтересны. Он трогательно упрашивал каждого купить себе цветную фотографию.

Ночью, шагая по огромному своему кабинету, он говорил монологи о великом Люмьере, изобретателе цветной фотографии, о серной кислоте и поташе... Вы сидели на диване и слушали.

Целая полоса его жизни была окрашена любовью к граммафонам — не любовью, а бешеной страстью. Он как бы заболел граммафонами, и нужно было несколько месяцев, чтобы он излечился от этой болезни.

Я помню, как в Куоккале он увлекся игрой в городки.

— Мы больше не можем играть, — говорили утомленные партнеры. — Темно, ничего не видно!

— Принесите фонари! — кричал он. — Ставьте фонари возле чушек!

— Но ведь мы разобьем фонари.

— Не беда!

Первый же удар, сделанный Сергеевым-Ценским, великим мастером этой русской национальной игры, угодил в фонарь, а не в чушку. Фонарь — вдребезги, но Андреев кричал:

— Скорее зажигайте другой!

Это незнание меры было его главной чертой. Камин у него в кабинете был величиной с ворота, а самый кабинет — точно площадь. Его дом в деревне Ваммельсуу высился над всеми домами: каждое бревно стопудовое, фундамент — циклопические гранитные глыбы.

Помню, незадолго до войны он показал мне чертеж какого-то грандиозного здания.

— Что это за дом? — спросил я.

— Это не дом, это стол, — отвечал Леонид Андреев.

Оказалось, что он заказал архитектору Олю проект многоэтажного стола, обыкновенный письменный стол был ему тесен и мал.

Такое тяготение к огромному, великолепному, пышному сказывалось у него на каждом шагу. Гиперболическому стилю его книг соответствовал гиперболический стиль его жизни. Недаром Репин называл его «герцог Лоренцо». Жить бы ему в раззолоченном замке, гулять по роскошным коврам, в сопровождении блистательной свиты. Это было ему к лицу, он словно рожден был для этого. Как величаво он являлся гостям на широкой, торжественной лестнице, ведущей из кабинета в столовую! Если бы в ту пору где-нибудь грянула музыка, это не показалось бы странным.

Его дом был всегда многолюден: гости, родные, обширная дворня и дети, множество детей, и своих и чужих, — его темперамент требовал жизни широкой и щедрой.

Его красивое, смуглое, точеное, декоративное лицо, стройная, немного тучная фигура, сановитая, легкая поступь — все это гармонировало с той ролью величавого герцога, которую в последнее время он так превосходно играл. Здесь была его коронная роль, с нею он органически сросся. Шествовать бы ему во главе какой-нибудь пышной процессии, при свете факелов под звон колоколов.

II

Но его огромный камин поглощал невероятное количество дров, и все же в кабинете стоял такой лютый холод, что туда было страшно войти.

Кирпичи тяжелого камина так надавили на тысячепудовые балки, что потолок обвалился и в столовой нельзя было обедать.

Гигантская водопроводная машина, доставлявшая из Черной речки воду, испортилась, кажется, в первый же месяц и торчала, как заржавленный скелет, словно хвастая своею бесполезностью, пока ее не продали на слом.

Зимняя жизнь в финской деревне убога, неуютна и мертва. Снег, тишина, даже волки не воют. Финская деревня не для герцогов.

И вообще эта помпезная жизнь казалась иногда декорацией. Казалось, что там, за кулисами, прячется что-то другое.

— Ты думаешь, это гранит? — говорил мне Куприн, стоя перед фасадом огромного дома. — Врешь! Это не гранит, а картон. Дунь на него — он повалится.

Но сколько ни дул Куприн, гранит не хотел валиться; и все же в этих шуточных словах слышалась правда: действительно, во всем, что окружало и отражало Андреева, было что-то декоративное, театральное. Вся обстановка в его доме казалась иногда бутафорской; и самый дом — в норвежском стиле, с башней, — казался вымыслом талантливого режиссера. Костюмы Андреева шли к нему, как к оперному тенору, — костюмы художника, спортсмена, моряка.

Он носил их, как носят костюмы на сцене.

Не знаю, почему, всякий раз, как я уезжал от него, я испытывал не восхищение, а жалость. Мне казалось, что кто-то обижает его. Почему он барахтается в Финском заливе, если ему по плечу океан? Можно ли такую чрезмерную душу тратить на граммофоны? Вчера он всю ночь говорил о войне, восемь часов подряд шагал по своему кабинету и декламировал великолепный монолог о цеппелинах, десантах, кровавых австрийских полях. Почему же он сам не поедет туда? Почему он сидит у себя в пустоте, ничего не видя, не зная, и говорит в пустоту, перед случайным, заезжим

соседом? Если бы ту энергию, которую он тратит на ночные хождения по огромному своему кабинету — или хоть половину ее — он употребил на другое, он был бы величайшим путешественником, он обошел бы всю землю, он затмил бы Ливингстона и Стенли. Его энергический мозг жаждал непрерывной работы, эта безостановочная мельница требовала для своих жерновов нового и нового зерна, но зерна почти не было, не было живых впечатлений — и огромные жернова с бешеной силой, с грохотом вертелись впустую, зря, вымалывая не муку, а пыль.

Да и откуда было взяться зерну? В своей Финляндии Андреев жил как в пустыне. Вы уезжали куда-нибудь в дальние страны, летали на аэропланах, сражались и, возвратившись, с изумлением видели, что он все так же шагает по своему кабинету, продолжает тот же монолог, начатый около года назад. И его огромный кабинет казался в тот вечер очень маленьким и его речь захоластной. Не жалко ли, что художник, такой восприимчивый, с такими хваткими, жадными и зоркими глазами, не видит ничего, кроме снега, сидит в четырех стенах и слушает завывание ветра? В то время как его любимые Киплинги, Лондоны, Уэллсы колесили по четырем континентам, он жил в пустоте, в пустыне, без всякого внешнего материала для творчества, и нужно изумляться могучести его поэтических сил, которые и в пустоте не иссякли.

Писанию Леонид Андреев отдавался с такой же чрезмерной стремительностью, как и всему остальному, — до полного истощения сил. Бывали месяцы, когда он ничего не писал, а потом вдруг с невероятной скоростью продиктует в несколько ночей огромную трагедию или повесть. Шагает по ковру, пьет черный чай и четко декламирует; пишущая машинка стучит, как безумная, но все же еле поспевает за ним. Периоды, диктуемые им, были подчинены музыкальному ритму, который нес его на себе, как волна. Без этого ритма, почти стихотворного, он не писал даже писем.

Он не просто писал свои вещи, он был охвачен ими, как пожаром. Он становился на время маньяком, не видел ничего, кроме них; как бы малы они ни были, он придавал им грандиозные размеры, насыщая их гигантскими образами, ибо в творчестве, как в жизни, был чрезмерен; недаром любимые слова в его книгах «огромный», «необыкновенный», «чудовищный». Каждая тема становилась у него колоссальной, гораздо больше его самого, и застилала перед ним всю вселенную.

И поразительно: когда он создавал своего Лейзера, еврея из пьесы «Анатэма», он даже в частных разговорах, за чаем, невольно сбивался на библейскую мелодию речи. Он и сам становился на время евреем. Когда же он писал «Сашку Жегулева», в его голосе слышались волжские залихватские ноты. Он невольно перенимал у своих персонажей их голос и манеры, весь их душевный тон, перевоплощался в них, как актер. Помню, однажды вечером он удивил меня бесшабашной веселостью. Оказалось, что он только что написал Цыганка, удалого орловца из «Повести о семи повешенных». Изображая Цыганка, он и сам превратился в него и по инерции оставался Цыганком до утра — те же слова, те же интонации, жесты.

Герцогом Лоренцо он сделался, когда писал свои «Черные маски», моряком — когда писал «Океан».

Поэтому о нем существует столько разноречивых суждений. Одни говорили: он чванный. Другие: он душа нараспашку. Иной, приезжая к нему, заставлял его в роли «Саввы». Иной наткнулся на студента из комедии «Дни нашей жизни». Иной — на пирата Хорре. И каждый думал, что это Андреев. Забывали, что перед ними художник, который носит в себе сотни личин, который искренне, с беззаветной убежденностью считает каждую свою личину — лицом.

Было очень много Андреевых, и каждый был настоящий.

Некоторых Андреевых я не любил, но тот, который был московским студентом, мне нравился. Вдруг он становился мальчишески проказлив и смешлив, сорил остротами, часто плохими, но по-домашнему милыми, сочинял нескладные вирши. В одну такую

озорную минуту, желая посмеяться над московским писателем Т., который был необыкновенно учтив, он на рассвете позвонил к нему по телефону.

— Кто говорит? – спрашивает учтивый писатель спросонья.

— Боборыкин! – отвечает Андреев.

— Это вы, Петр Дмитриевич?

— Я, – отвечает Андреев дряхлым, боборыкинским голосом.

— Чем могу служить? – спрашивает учтивый писатель.

— У меня к вам просьба, – шамкает Андреев в телефон.— Дело в том, что в это воскресенье я женюсь... Надеюсь, вы окажете мне честь, будете моим шафером.

— С радостью! – восклицает учтивый писатель, не смея из учтивости прийти в изумление по поводу свадьбы восьмидесятилетнего старца, к тому же обладавшего женой.

Этот вкус к озорству и мальчишеству проявлялся у Леонида Андреева даже в поздние, предсмертные годы. Помню, однажды вечером он подговорил человек двадцать друзей и знакомых позвонить с утра по такому-то номеру, а когда к телефону подойдет абонент, самым сладким голосом спросить у него:

— Дрюнечка, скажите, пожалуйста, видели вы бани Каракаллы?

«Дрюнечка» был его зять, петербургский архитектор Андрей Андреевич Оль. Он только что воротился из Рима, куда ездил для изучения античного зодчества, но, по его же признанию, не успел поглядеть на знаменитые развалины Каракалловых бань.

Узнав об этом, Леонид Николаевич и придумал для него такую телефонную казнь. После второго же звонка бедный Оль начал свирепо ругаться, после пятого исчерпал все ругательства и только с остервенением рявкал, яростно швыряя телефонную трубку.

Свою дачу Андреев называл «Вилла Аванс» (она была построена на деньги, взятые авансом у издателя). Про одного критика выразился: «Иуда из Териок» (вместо «Искарриот»). Про одну нашу знакомую даму, любовники которой были братьями: «братская могила».

Но часто эта веселость была, как и все у Андреева, чрезмерная, имела характер припадка, от нее вам становилось не по себе, и вы радовались, когда она наконец проходила.

После этого припадка веселости он становился мрачен и чаще всего начинал монологи о смерти. То была его любимая тема. Слово «смерть» он произносил особенно — очень выпукло и чувственно: *смерть*, как некоторые сластолюбцы — слово *женщина*. Тут у Андреева был великий талант: он умел бояться смерти, как никто. Бояться смерти — дело нелегкое; многие пробуют, но у них ничего не выходит; Андрееву оно удавалось отлично; тут было истинное его призвание: испытывать смертельный, отчаянный ужас. Этот ужас чувствуется во всех его книгах, и я думаю, что именно от этого ужаса он спасался, хватаясь за цветную фотографию, граммофоны, живопись. Ему нужно было хоть чем-нибудь загородиться от тошнотворных приливов отчаяния. В страшные послереволюционные годы (1907–1910), когда в России свирепствовала эпидемия самоубийств, Андреев против воли стал вождем и апостолом этих уходящих из жизни. Они чуяли в нем своего. Помню, он показывал мне целую коллекцию предсмертных записок, адресованных ему самоубийцами. Очевидно, у тех установился обычай: прежде чем покончить с собой, послать письмо Леониду Андрееву.

Иногда это казалось странным. Иногда, глядя на него, как он хозяйским, уверенным шагом гуляет у себя во дворе, среди барских конюшен и служб, в сопровождении Тюхи, великолепного пса, или как в бархатной куртке он позирует перед заезжим фотографом, вы не верили, чтобы этот человек мог носить в себе трагическое чувство вечности, небытия, хаоса, мировой пустоты. Но в том-то и заключалась особенность его писательской личности, что он, — плохо ли, хорошо ли, — всегда в своих книгах касался извечных вопросов, трансцендентных, метафизических тем. Другие темы не волновали его. Та литературная группа, среди которой он случайно оказался в начале своего

писательского поприща — Бунин, Вересаев, Чириков, Телешов, Гусев-Оренбургский, Серафимович, Скиталец, — была внутренне чужда Леониду Андрееву. То были бытописатели, волнующиеся вопросами реальной действительности, а он среди них был единственный трагик, и весь его экзотический, эффектный, чисто театральный талант, влекущий к грандиозным, преувеличенным формам, был лучше всего приспособлен для метафизико-трагических тем.

III

Но, повторяю, я гораздо больше любил не этого, а другого Леонида Андреева — очень домашнего, благодушно-бесхитростного, — и как удивился бы каждый читатель его раздирающих душу трагедий, если бы увидел его в иные минуты в кругу многочисленной и дружной семьи. Вот он сидит за большим самоваром, рядом со своими братьями Андреем и Павлом, и его сестра, голубоглазая Римма, подает ему шестую чашку чая, а тут же, недалеко от него, кутаясь в темную старушечью шаль, сидит его мать Настасья Николаевна, и смотрит на него с обожанием. Он до конца своих дней любил ее горячо и порывисто, что не мешало ему в семейном кругу без устали потешаться над нею и сочинять про нее небылицы. Хотя у нее были темные волосы, он почему-то называл ее «Рыжий», уверяя — тут же, за чайным столом, — будто она влюблена в одного итальянца, и очень смеялся над тем, что она говорит «калитор», «карасий», «апельцины». На все эти шутки она отвечала улыбкой, так как чувствовала в них сыновнюю ласку и была счастлива, что ее возлюбленный Коточка — после долгого периода тоски и уныния — наконец-то развеселился вовсю, стал шаловлив и дурашлив. И вся семья вместе с ним веселела, и в доме на две-три недели водворялся какой-то наивный, очень искренний, простосердечный, провинциальный уют. Именно провинциальный: даже в том, как сражался Леонид Николаевич в шашки, как безудержно и лихо острил, как долго просиживал с семьей за чайным столом, как любил слушать игру на гитаре, чувствовалось неискоренимое влияние провинции, в которой прошло его детство. Этим же влиянием, я думаю, объясняется также и то, что он мало читал, не знал ни одного языка, был равнодушен к симфонической музыке. Его «провинциальность» особенно сильно бросалась в глаза, когда ему случалось встречаться с такими людьми, как, например, Серов, Александр Бенуа или Блок, перед которыми он странно робел: слишком уж различны были их «культурные уровни».

Но замечательно: при всей провинциальности, в нем не было и тени мещанства; обывательская мелочность, скарденность, обывательское «себе на уме» были чужды ему совершенно; он был искренен, доверчив и щедр; никогда я не замечал в нем ни корысти, ни лукавства, ни карьеризма, ни двоедушия, ни зависти.

Как бы ни были различны те роли, которые он, как мы только что видели, так часто играл для себя, как бы ни были переменчивы его увлечения, одно оставалось в нем всегда неизменным — душевная чистота, благородство. Это делало его неприспособленным для житейской борьбы: нерасчетливый, не умеющий думать о завтрашнем дне, не умеющий ни копить, ни беречь, он был заранее обречен на разорение, — тем более что было у него еще одно душевное качество, в высшей степени лишнее в той хищной среде, в которой он был вынужден жить. Качество это никак не вяжется с общим представлением о нем, так как оно всегда заслонялось другими чертами, более яркими, более рельефными. Я говорю о необыкновенной его доброте, которая была столь же «чрезмерна», как и все прочие черты его личности. Нельзя было не удивляться тому, что он, индивидуалист, эгоцентрик, вечно сосредоточенный на собственном я, так деятельно отзывается сердцем на чужие горести и боли. Он сам как бы стыдился своей слабости, усиленно скрывал ее от всех, чувствуя, что она не идет к той демонической роли ниспровергателя «заветных святынь», нищенца, которая смолоду привлекала его.

И все же далеко не всегда удавалось ему скрыть эту «слабость». Она сказывалась буквально на каждом шагу. Как-то он приютил у себя беглого каторжника, свято веруя, что тот политический. Но каторжник был уголовный, и мало того, что ограбил его,

наговорил ему чудовищных грубостей, но, уходя, еще и пригрозил, что не сегодня-завтра пристрелит его. Леонид Николаевич на первых порах страшно вспылывал и разгневался, но уже через два-три дня, узнав, что мне случайно известно местопребывание каторжника, прислал мне для него (тайком от домашних) сколько-то денег, финскую шапку и ватник.

Особенно любил он помогать литераторам: даже домик у себя на участке построил специально для нуждающихся авторов, чтобы дать им возможность отдохнуть и без всякой помехи работать. А молодому беллетристу А. Кипену он сделал так много добра, что тот (по собственному выражению Кипена) буквально «пропал бы», если бы не Леонид Николаевич. «Сердечная доброта и задушевность Андреева, — писал Кипен в своих воспоминаниях о нем, — граничила с самоотвержением». Так же широко помогал он ныне забытому беллетристу Брусянину, деликатнейше придумывая разные способы, чтобы придать своим денежным выдачам видимость платы за труд, который в большинстве случаев был номинальным¹.

С детской радостью доставлял он (опять-таки тайком от домашних!) свою чековую — не слишком-то пухлую — книжку и быстро-быстро выписывал чек для любого просителя еще раньше, чем тот успевал подробно изложить свою просьбу.

Между тем он, в сущности, был небогат, потому что все его огромные гонорары поглощала семья; кроме семьи, у него всегда в доме было пять или шесть посторонних — неимущие студенты, художники и какие-то личности неопределенного звания.

Было бы странно, если бы эта чрезмерная жалость не отразилась во многих произведениях Андреева — не только в ранних, вроде «Петьки на даче», но и в позднейших — символических и буффонных вещах, таких, как «Любовь к ближнему», «Царь-Голод», «Анатэма».

По крайней мере И. Репин не раз утверждал, что Леонид Андреев не только наружностью, но и характером напоминает ему одного из обаятельнейших русских писателей — Гаршина. Он говорил, что оба они — каждый по-своему — равно продолжали традиции высокой гуманности, свойственные русскому искусству со времен Федотова и Гоголя.

Верно ли это? Не стану судить. Я ведь пишу не критический очерк о Леониде Андрееве, а всего лишь воспоминания о нем. Моя тема — не Андреев-писатель, но Андреев-человек, такой, каким я знал его в жизни в течение пятнадцати лет. Поэтому здесь будет уместно сказать лишь о внешней стороне его творчества. Писал он почти всегда ночью, — я не помню ни одной его вещи, которая была бы написана днем. Написав и напечатав свою вещь, он становился к ней странно равнодушен, словно пресытился ею, не думал о ней. Он умел отдаваться лишь той, которая еще не написана.

Когда он писал какую-нибудь повесть или пьесу, он мог говорить только о ней: ему казалось, что она будет лучшее, величайшее, непревзойденное его произведение. Он ревновал ее ко всем своим прежним вещам.

Он обижался, если вам нравилось то, что было написано им лет десять назад. Переделывать написанное он не умел: вкуса у него было гораздо меньше, чем таланта. Его произведения по самому существу своему были экспромтами.

Когда он был охвачен какой-нибудь темой, всякая ничтожная мелочь вовлекалась им в круг этой темы. Я помню, как, приехав однажды в Куоккалу ночью, он взял извозчика и заплатил ему рубль. Финн обиделся:

— Мне не надо рубль.

Андреев прибавил полтинник, и через несколько дней в «Повести о семи повешенных» появился мутноглазый Янсон, упрямо повторяющий судьям:

¹ Не могу умолчать о той помощи, которую оказал он и мне. Я был болен и утратил способность работать. Вдруг приезжает общая наша знакомая и говорит, что некто, не желающий открыть свое имя, просит принять от него изрядную сумму, которая даст мне возможность отдохнуть и подлечиться в санатории. Кто этот некто, я в ту пору не знал. Мне и в голову не приходило, что это Андреев, так как, в качестве литературного критика, я незадолго до этого резко нападал на него в ряде журнально-газетных статей. Лишь после его смерти мне стало известно, что деньги были посланы им. Нужно было высокое «настроение души», чтобы встать выше личных обид и оказать такую великодушную помощь тому, кого считаешь своим врагом и хулителем.

«Меня не надо вешать... Меня не надо вешать».

Незначительный эпизод с извозчиком превратился в центральное место эффектно-патетической повести. Такое умение придавать неожиданную художественную ценность тому, что казалось ничтожным и мелким, всегда было сильной стороной андреевского творчества.

Однажды ему попала газета «Одесские новости», где известный авиатор Уточкин, описывая свой полет, говорит:

«При закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна».

Такое любование «нашей тюрьмой» очень поразило Андреева, и через несколько дней он уже писал свою знаменитую повесть «Мои записки» — о человеке, полюбившем свою тюрьму, — и закончил ее теми же словами:

«При закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна!»

Причем придал этим словам неожиданный символический смысл.